

КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР

НА ГОРНЫХ
УСТУПАХ
(СБОРНИК)

Казимеж Тетмайер
На горных уступах (сборник)

«Public Domain»

1909

Тетмайер К.

На горных уступах (сборник) / К. Тетмайер — «Public Domain»,
1909

«Однажды, в начале ноября, страшный ветер, бушевавший в горах три дня и три ночи, наломал столько деревьев в Татрах, что местами целые склоны были завалены сосновым буреломом... Лишь кое-где торчали буки с замерзшими листьями, державшиеся на глубоко ушедших в землю корнях. Потом пошли дожди, потом снег, и раз ночью, к концу ноября, стало сильно морозить...»

Содержание

Часть первая	5
Разбойничья изба	5
О Марисе Далекой	15
О Марине, войтовой дочери	22
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Казимеж Тетмайер

На горных уступах (сборник)

Генрику Сенкевичу, творцу трилогии, в знак преклонения посвящает автор.

Часть первая

Разбойничья изба

Однажды, в начале ноября, страшный ветер, бушевавший в горах три дня и три ночи, наломал столько деревьев в Татрах, что местами целые склоны были завалены сосновым буреломом... Лишь кое-где торчали буки с замерзшими листьями, державшиеся на глубоко ушедших в землю корнях. Потом пошли дожди, потом снег, и раз ночью, к концу ноября, стало сильно морозить.

В ту ночь два брата – Юзек и Сташек ЛуЩИКИ, из Буковины, Андрей Косля и Гилярий Питонь из Костелиск пришли на полянку в дремучем лесу под Кошистой горой. Шли они издалека, из Спижа, с тяжелой ношей: они ограбили еврейскую лавку, забрали там не только деньги, а и всякого товару; полотна, сукна, которое можно было хорошо продать новоторжским евреям, – да, кроме того, Косля нес на плечах большую серну, которую он убил на Белых Водах, метко попав ей в лоб камнем. На диво он камни бросал, – вообще он был искусник: например, присев на корточки и взявшись руками за большие пальцы у ног, он мог вскочить на высокий стол.

И бегал он так, что, схватив собаку за хвост, мог гоняться за ней, сколько душе его было угодно. Было у него прозвище: Косля Проворный, или Гонец. Звали его иногда еще не то Гордый, не то Горный – оттого-ли, что горд был он очень и спесив, оттого-ли, что редко бывал в долинах, а все больше в горах сидел. А может, звали и так и так.

Лицо у него было ясное, как солнце, продолговатое, с вечной улыбкой, – а искалечить человека для него было все равно, что рукой замахнуть. Высокий был он и гибкий, как сосна. Смерть двух людей уже считали за ним.

Братья ЛуЩИКИ, Юзек – старший и Сташек – младший, были дюжие, широкоплечие, огромного роста, смуглолицые парни. Волосы носили они длинные с косичками от висков до плеч, а в косички вплетали стеклышки и блески. Волосы у них были черные, всегда намазаны маслом, – а молодых бычков они вскидывали на плечи, как овец. Был у них обычай освещать себе дорогу, поджигая какую-нибудь избу на краю города или села, где они грабили ночью. Называли их за это – ЛуЩИКИ Яркие. Четвертый, Гилярий Питонь, из Костелиск, был мужик среднего роста; прозвали его Вьюном, – он умел на диво извиваться под чупагой¹ и ломался так, словно у него костей не было. Был он белокур, с кудрявыми волосами, и так ловко крал баранов и волов на полянах, что никто с ним в этом сравняться не мог; а кроме того он умел играть на свирели, и с ним было веееелее итти в дальнюю дорогу и ночевать в глуши.

Герштом или атаманом этой шайки был самый старший и самый расторопный, Юзек ЛуЩИК. Когда-то он был под началом у покойников Юзька и Яська Новобильских, происшедших из рода, который славился и своей древностью, и своими разбоями... Их имена он всегда вспоминал с честью и часто молился о вечном покое их грабительских душ:

¹ Палка с железным топориком вместо ручки, которую носят татрские горцы.

– Пусть вам Господь Бог простит двадцать и семь разграбленных лавок и три смерти людские!

– Добрые были мужики! – говорил он.

Сташек Лущик держал караул на полянке; холод грыз так, что трудно было выдержать. Месяц ясно светил. Смотрит Питонь на сваленные черевья, почесал в затылке и говорит:

– Эх, если б вот из них изба выросла!.. Было б где погреться!

Посмотрел пытливо на него Сташек Лущик:

– А знаешь, Гилярий, она бы тут могла хоть сейчас вырасти! Ничего не надо, срубить только суки, стволы укоротить и досок достать для крыши. Пригодилась бы такая изба нам не на один раз!

– Эге, да ведь и до лесопилки недалеко, в Поронин за досками сбегает, – отозвался Косля, поднимая голову над серной, с которой он снимал шкуру, а у самого глаза засветились при мысли, что и в лютый мороз не придется сидеть у отца в деревне.

– Знаете, парни, так холодно... возьмемся-ка за работу, – говорит Питонь. – Хоть бы руки погреть!

Юзек Лущик стал очень хвалить эту мысль.

– Будет где и переночевать не раз, да в случае и скотину продержат можно будет... Кто знает, что Бог пошлет – авось, коли придется, и подольше просидим вдаль от жилья человеческого...

Хорошо помнил он те страшные ночи, которые несколько лет-тому назад ему пришлось провести с Яськом Новобильским в Магурской пещере, когда на них, как на волков, облаву устроили. Отмерзли у него тогда два пальца на левой руке, он их топором отрубил:

– Они как деревянные были; положил я их на пень: отрубил, – говорил он.

Мысль построит избу в чаще, куда, кроме них, могли пробраться только волк, да медведь, показалась им превосходной.

Не надо будет уж петь:

«На зеленом буке листочки белеют –
Кто же добрых молодцев зимою согреет?..»

– Сам Господь Бог навалил нам деревьев; чего им попусту лежать, – говорили они. – Пол-работы убыло, рубить не надо. Пусть хоть часть Божьего дара не сгниет.

И пока Косля драл шкуру с серны, трое остальных чупагами обтесывали стволы и верхушки сваленных сосен. На другой день Сташек Лущик и Косля пошли купить досок в Поронинской лесопилке, и подвезли их к лесу, не говоря, куда везут. В лесу доски пришлось тащить, – возу негде было проехать.

А вечером доски были уже на месте.

Ели серну, пили водку, принесенную из Венгрии, знаменитую боровичевку, от которой глаза на лоб лезли. Были у них гвозди, молотки, топоры – все, что надо. Устали они от работы, но зато все были веселы. Питонь уж играл на свирели, Сташек Лущик уж готовился плясать, как вдруг Юзек нахмурился и сказал.

– Эй, хлопцы, об одном мы забыли. Пилы у нас нет. Как нам дерево резать, или доски?

Покупать пилы им не хотелось, и так много уж денег ушло, а одалживать пилу где-нибудь в деревне нельзя было: это могло бы возбудить подозрение. Косля Проворный и Сташек Лущик сразу собрались в дорогу, и, укравши на лесопилке две пилы, вернулись с ними поутру.

Потом Юзек Лущик перекрестил место, где должна была стоять хата, сам перекрестился, сложил руки и сказал, подняв глаза к небу:

– Господи Боже Всемогущий, во Святой Троице Единый, Пресвятей Господь Иисус Христос Распятый, Дух Святой, Матерь Божия и Вы, все Святые Господни и Ангелы, будьте нам в

помощь, чтобы работа наша шла и до конца дошла, чтоб ни при ней, ни с ней никакого несчастья не было, а чтобы Тебе на славу, людям на пользу выросла эта изба, и благословение Господне чтоб вечно с ней было, чтоб никто из нас не болел в ней, чтоб не было никакой измены, чтоб никакая скотина, ни конь, ни корова, ни овца, старая ли, молодая ли, или что хочешь, краденое из Спижа ли, или пониже откуда, не переводилось в ней, а чтобы мы в здоревьи там жили, деньги наживали и Твое Господне имя, Отче Предвечный, хвалили: так наш Господь Бог во Святой Троице Единый и Ты, Господи Иисусе Святыи, помоги! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Вскоре потом изба на полянке под Кошистой горой была готова. Люди назвали со разбойничьей избой.

И благословил Господь её строителей, были они здоровы, были у них деньги; да вскоре всем им конец пришел по очереди.

Юзька Лущика, атамана и главного строителя (он лучше всех строить умел) повесили за ребро на крюке в Микулаше Липтовском, и висел он до тех пор, пока не умер – там его и похоронили.

Сташек, его младший брат, умер от воспаления легких – напился воды, устав от погони пограничной таможенной стражи, когда пробирался с табаком в Галицию. Умер он в деревне.

Питонь сорвался с решетки висницкого замка при попытке побега, свалился с большой высоты, разбил голову и умер на месте. Его похоронили на висницком кладбище.

Проворный или Горный Косля последним ушел на тот свет. Погиб он в долине Старолеся у низких озер от пули охотника из Спижа, который охотился на коз.

Похоронил его под собою снег, а весною орлы разнесли по кускам его тело.

Таков был конец четырех строителей. разбойничьей избы. Но изба видала еще так еще многое на своем веку.

В ней играли знаменитую свадьбу Зоськи Моцарной из Костелиск, свадьбу, которая еще так нехорошо закончилась.

Моцарные славились силой, – и сама Зоська могла положить самого сильного мужика, срубала деревья в лесу, – а когда ей было около тридцати лет, поступила в разбойничью шайку Франка Топора и наводила ужас на все города и местечки за Татрами. Никогда не знавала она любовных объятий: все боялись сойтись с ней. Когда же она стала славиться награбленным богатством (а брала она из добычи, сколько хотела: с ней торговаться никто не смел), Куба Питонь из Костелиск, не бедный, да жадный мужик, начал добиваться её руки.

Не советовали ему люди, да и сама она говорила:

– Куба, оставь лучше, не выдержишь!..

Но уж очень он на богатство зарился, не обращал внимания на добрые советы.

А так как Зоська не очень хотела показаться в хохоловском костеле (там она еще недавно украдала двух лошадей у богатого хозяина, Михала Тыльца, которому чуть не вся деревня была сродни), – ей и пришла в голову мысль отпраздновать свадьбу в хорошо ей знакомой разбойничьей избе.

Целая толпа гостей ехала туда из под леса вглубь, верхами, с песнями и музыкой. На лошадей навьючили бочки с вином и с пивом, и вся вековая пуща наполнилась гамом, которому вторили далеким воем испуганные волки.

Зоська истратила на свадьбу котелок талеров. Гремели пистолеты и ружья, зажгли костер – огонь доходил до самых верхушек сосен, а зарево от него было, как от пожара. Но у Кубы к утру оказались сломанными три нижних робра, одно с правой и два с левой стороны... Там он на третий день и помер; отвезти его в Костелиски нельзя было: все у него болело, да и дороги не было.

Похоронили его в лесу и поставили крест, и долго еще ходила поговорка: повадился Куба Питонь к Зоське Моцарной.

Она его очень жалела и говорила, что ни в чем не виновата, что хотела обойтись с ним, как можно осторожнее, и что ее только на одну минуту разобрало – и вот тебе...

Там, в разбойничьей избе, скрывались от проклятий и воплей людских несчастный Яси Слodyчек и сестра его Тереза – она семнадцати лет, он двадцати; они влюбились друг в друга вопреки Божьему завету и человеческим законам, и должны были бежать из родной деревни, из отцовского дома. Там они похоронили под старой сосной маленького ребенка, умершего от голода и холода, от которых и сами они умирали, а Ясь, который ходил когда-то в школу в Новом Торге, сорвал кору с сосны над могилкой и вырезал на мой такую надпись:

Тут покоится
маленькое дитя некрещеное,
умерло от мороза и оттого,
что у матери молока в груди
не хватило.
Не карай его, Господи, адом,
ведь оно невинно.
Аминь.

Долго стояла эта сосна с надписью, пока её не спалило молнией. Разное говорили про это те, кто знали: одни, что Богу угодно было дать знак, что он принял просьбу Яся и дитя его, хоть некрещеное, взял на небо; другие, будто он хотел показать, что дитя горит в адском огне, как сосна горела от удара молнии. – Бог, как Бог, – говорила старая Гадейка, их тетка, – он, что орел в небе. Кто знает, куда он летит? Не противятся ему ни тучи, ни дожди. Куда хочет, туда и летит. Так и Господь Бог свободен.

Там, в разбойничьей избе, жил Войтек Самек из Закопаного, завзятый охотник на медведей. Звали его «Зрячим», потому что видел он дивные дивы, каких никому не случалось видеть (он-то и видел рыбу с бараньей головой в Морском Оке). Там, в разбойничьей избе, видел он раз страшного всадника Татр – рысь на шее у оленя; она промчалась по полянке, под самой разбойничьей избой, несясь как вихрь на обезумевшем от отчаяния животном. Слыша издали стоны и увидев ужасное зрелище, Самек испугался, думая, что это привидение, и даже перекрестился, – олень промчался и исчез в чаще.

Там видел он отчаянную борьбу медведя с пятью волками. Весь лес дрожал от рева и хрипа, а снег метелью взбивался в воздух над кучей зверей. Медведь, на которого волки напали неожиданно, не успел убежать в лес, к деревьям, и волки на него напали. Самек смотрел из двери разбойничьей избы, с ружьем в руке, на эту борьбу. Жаль ему было медвежьей шкуры, да любопытство взяло, кто победит. Медведь защищался храбро и пятился к лесу, к молодым соснам. Самек боевой душой своей радовался, глядя, как могучее животное поднималось на дыбы и махало огромными лапами, ревя и сопя. Но проворные волки отскакивали в стороны и загоразивали дорогу к лесу... Одного медведь ударил в голову, он упал со стоном в снег, – сквозь разинутую пасть его полилась кровь. Другой с брюхом, распоротым медвежьими когтями, подскочил высоко в воздух и упал, купаясь в крови своих внутренностей. Вдруг самому большому из волков удалось напасть на медведя сзади и вонзить ему клыки под уши в шею. Тогда другой волк впился ему в горло, а третий тоже подскочил к его шее. Придушенный, задавленный медведь упал, расставив лапы. Теперь виден был только чудовищный ком тел, слышался такой стон, рев и хрип, смешанный с воем издыхающих тут же волков, что у Самка ружье дрожало в руках от потрясающего зрелища.

Прошло, может быть, полчаса, пока звери боролись, валяясь и ползая по земле, сцепившись так, что трудно было отличить одного от другого. Наконец, медведя загрызли, – он пере-

стал защищаться, а волки, красные от крови, сочившейся из ран, стали рвать его мясо и пить его кровь. Тогда Самек уложил двумя выстрелами двух волков, а третий убежал.

Рассказал он это, вернувшись домой, сидя в теплой избе за дымящейся картошкой, приправленной горячим молоком. Слушала его жена, слушали трое рослых сыновей и три полногрудые, румяные красавицы-дочери, которые ткали полотно на станках, пока не начинало светать. Сидели они кто на скамье, кто на ведерке, кто на стуле, опершись круглыми подбородками на руки, и слушали чудные рассказы, которые отец приносил всегда с собой с гор. Слушали его и двое кумовей, родственники и друзья Самка, большие охотники, Ясек Вальчак и Мацек Татарин; они пили венгерское вино, которое поставили перед ними, и пыхтели густым душистым дымом трубок. На завтра хотели они вместе с Самком отправиться к разбойничьей избе за шкурами убитых зверей, которые не потеряли цены, хоть и истрепались в борьбе, да за мясом и салом медвежачьим, очень целебным во всех болезнях, – если только не утащат богатой добычи водки, рыси, лисицы, куницы или птицы.

Там Самку было дивное видение, после которого стали говорить, что, как бы он ни грешил, а пойдет на небо, коль ему Господь Бог такую вещь при жизни дозволил видеть; да впрочем он после этого и не очень долго грешил.

Такое с ним приключилось несчастье, что отправился он с товарищами пни выкорчевывать в Менгушовецкую долину, повстречался там с семью липтовскими стрелками, и угодили они ему пулей в бок. Угодить бы и не угодили, было у него время бежать, два товарища его и убежали куда-то к Копровому Кряжу, да только боевая душа Самка не хотела уйти с поля битвы без выстрела; остановился он, чтобы прицелиться в самого толстого липтовца. Да Бог не благословил, ружье не выстрелило, – порох-ли намок, или другое что, – а тем временем один из липтовских стрелков и вцепил ему пулю под ребра. С ней и сошел Самек с поля с сознанием, что уходит с честью, и прошел, истекая кровью, Менгушовецкий кряж, пробрался к Рыбьему, под Волошин, ничего не ел, не пил, все припасы там, в долине, остались, – пока, наконец, усталость не одолела его в скалах.

Об одном он у души своей просил, чтоб не уходила она из него, пока он не дойдет до разбойничьей избы.

Там он упал на солому, которая осталась от последних ночлегов разбойников или охотников.

Тогда – (только, Боже сохрани, не от горячки, не от раны, а с Божьего соизволения) – дано ему было видеть то, чего ни один горец не видывал.

Ослабел он от потери крови так, что не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Вдруг ему показалось (а было это на заходе солнца, темновато было, день был туманный, дождь шел), что какая-то тень стоит в дверях, хоть они были заперты, а потом явилась и другая. Одна стала по левой стороне двери, другая по правой.

– Смерть... – думает Самек, – но на какого черта их две пришло, ведь и одна со всем светом, с царями, с попами и с докторами справляется, а не то, что с мужиком... да и не слыхивал я, что две смерти есть, или чтоб смерть в двух образах ходила...

Да только он сейчас понял, кто пришел: та тень, что стояла слева, говорит:

– Душа, или ко мне!

А голос у ней такой, словно немазанная ось заскрипела.

– Ого! – подумал Самек и вздрогнул. – Да ведь это дьявол, а та вторая, верно, смерть, или помощник какой...

И в ту же минуту тень, что по правую сторону двери стояла, отозвалась:

– Душа, или ко мне!

А голос был, как колокольчик в костеле.

И обрадовался Самек, догадался, что это не помощник дьявольский и не смерть; откуда бы им иметь такой сладкий голос. И его тешило то, что тень эта казалась светлее, чем другая.

Всмотрелся Самек хорошенько в тени, – глаза у него были зоркие, охотничьи, – и увидел большие крылья над головой у обеих; только у того, что был светлее, они были как у ласточки, а у другого, как у нетопыря. Знал уже Самек, что это ангел и дьявол.

– Пришли за душой моей, – говорит он про себя. – Кто-же осилит?

Дьявол говорит:

– Душа! ты моя!

А ангел в ответ:

– Не твоя, а моя!

– Моя!

– Нет, не твоя!

Стали спорить.

– Он воровал! – говорит дьявол.

– Воровство – дело мужицкое. Не крадет тот, кто не может! – отвечал ему ангел.

– Пьянствовал!

– Так за свои деньги! У тебя займы брал?

– С девками любил хороводиться, когда парнем был.

– Да, ведь и ты бы с ними хороводился, кабы захотели тебя! Небось!

– Не исповедовался уж года три!

– Это ксендзово дело, а не твое. На то и есть ксендз в Хохолове.

– Как разозлится – ругается!

– Так тебя же ругает! И хорошо делает.

– Святым не верит.

– Так и они ему не верят. Я это хорошо знаю, мы ведь друзья, а ты у них под хвостом!

Разозлился на это дьявол, идет к Самку от двери.

– Иди, душа! Беру тебя! – скрипит он.

Вынул вилы откуда-то из-за плеч и идет к Самку. А ангел ему:

– Ах, ты нехристь! Сто чертей ты слопал! Да какой же я ангел, коли с тобой не справлюсь.

И хватить за вилы рукой.

– Было тут начто посмотреть, – рассказывал Самек, – ангел, зная было по нем, был дюжий, да дьявол тоже не слаб. Чуть он меня рванет вилами, ангел его держит. Только я диву дался, что никакого шуму они не делают. Говорить говорили, так, по человечьи, но чтобы задеть что-нибудь – ни-ни... Ничего не было слышно.

Наконец, ангел вырвал у дьявола вилы и вышвырнул их сквозь крышу в поле. Следа на досках не осталось, только скрипнули слегка, – тогда дьявол повернулся и бух – в дверь. Удрал.

– Ну, душа, – сказал ангел Самку, – спас я тебя.

– Храни тебя Господь, ангелочек! – ответил Самек.

– Ну, что, Войтек, хочешь идти со мной на небо?

Почесал Самек за ухом, не хотелось ему еще уходить со света, под пятьдесят лет ему всего было, а главное, жаль было того медведя с белой полоской на шее, что в Темных Соснах засел, жаль было и свадьбы у Собчака, куда его звали, – да только нельзя же такому человеку, как ангел, перечить. Чешет он за ухом, да говорит:

– Эх, если б отпустил ты меня на малость, тут только на одного медведя сходить... Свадьбу у Собчака бери уж, пусть ее, – коль нельзя иначе.

Не сказал я ему, какой медведь, или где он, – много ли ангел толку в охоте знает.

А он ответил:

– Ну, будь по твоему. Оставайся еще и иди на этого медведя.

И поднялся на крыльях и улетел сквозь крышу.

И не успел я его спросить даже, как звать его – Серафим, или Херувим, или как, не успел поблагодарить его, – вылетел это он сквозь крышу, только в глазах мелькнуло.

Да, видно, Господь Бог иначе рассудил, – не так, как он мне говорил, – а то я и того медведя убил, как только мне от раны полегчало, и на свадьбе был, и до сегодня живу и, может быть, жить буду и не год и не два.

Такого дивного видения никогда уж больше не было Самку, хоть раз ночью он повстречался и с Монахом у Хиньчова озера. Только этот призрак ничего ему не сказал, а лишь, проходя мимо, пододвинул светильник к его лицу и пошел дальше.

– Так бы и сказал ты, что он не идет, а плывет, хоть передвигает ногами под своей рясой. Борода у него по пояс, а глаза словно бельмами подернуты. Капюшон на нем остроконечный, – чуть ступит, он на нем болтается. Светильник в руках несет красный, красивый такой. Видел я, как шел он вниз, в долину. Там потом река разлилась, трое людей и собака утонули.

Там, в разбойничьей избе, однажды отдыхали пять людей. Они украли под Гавраном двух волов и барана у крестьян. Был между ними Михаил Калинин с Белого Дунайца, который даже в костел в Поронине с кривым ножом за пазухой ходил; был Климек Заруцкий, парень с гладким и нежным, почти женским лицом, который по очереди соблазнил семь сестер Михлянок и тем прославился; кроме того, он был разбойником. Был Ясек Валя, с Валево́й Горы, который умел прыгать через забор такой же вышины, как он сам, знаменитый танцор и вор. Была там Зоська Моцарная, вдова Кубы Питоня, был там Яхим Топор из Грубого, её двоюродный дядя, восьмидесятилетний старик, еще крепкий и смелый, с которым никто не мог сравняться в умении уводить волов. Звали его Нетопырем: он много ходил по ночам.

Волов они привязали к стене, повязали им морды мешками, чтоб они не мычали, потом развели огонь и зарезали барана, чтобы подкрепиться. Зоська стала жарить барана; Каминский не дождался, резал ножом сырое мясо, посыпал его солью и клал в рот. Чуть проглотит кусок, хлебнет водки из бутылки, – а хлебал он так, что еще не насытился, а уж полторы бутылки ушло. Это он «варил в нутре». А по нем и видно не было, что он такой сильный и здоровый.

Когда мясо обжарилось и все наелись, они легли около костра, закурили трубки, – и Зоська, как все. Мало, кто мог выпускать, такие клубы дыма как Зоська. Звезды уже начали показываться на небе и светить сквозь щели в крыше внутрь избы.

Был теплый, июньский вечер, ветер налетал с гор, весело играя в лесу, словно тешась своими крыльями и летом.

Яхим Топор лежал близ огня, он уж любил греться и в теплые ночи. Хранил он стародавний обычай – носил еще на шее ожерелье из камешков и косточек, а на голове высокую баранью остроконечную шапку, окрученную шнурками, с нанизанными на них раковинами.

Голова его была похожа на голову старой совы, глаза у него были огромные, выпуклые.

Помнил он многое из далеких-далеких времен, помнил еще лук на стене, висевший в избе в его детские годы; с этим луком предки его когда-то на охоту ходили. Умел он в поздней своей старости на диво метать топором так, что срубал ветви в любом месте. Один лишь покойник Косля Горный мог в свое время равняться с ним в этом искусстве.

Оставили ему родные после смерти немного земли и скота, что пасся летом в Ваксмундских горах, а зимой близ Топоровых озер, – он увеличил стадо, да глупо сделал: когда дети подросли, все роздал им, а они, вместо того, чтобы кормить его, как обещались, выгнали его из дому. Пришлось ему скитаться; он все больше разбойников держался, и хоть стар был и силы большой у него не было, а мог взапуски с молодыми ходить в дальнюю дорогу, даже бегать, и был очень опытен в кражах, привыкнув к ним с детства за свою долгую жизнь.

– Мне и восемнадцати лет не было, – говаривал он, – как я с разбойниками на грабеж ходить стал, так уж меня природа моя к тому тянула. Мне дома не сиделось, когда я слышал, что кто-нибудь на разбой идет; так тянуло, что не приведи Господь. Был у Тонсеницовых озер хозяин, Ян Бирцож, он против Мацька Гусеницы в Закопаном жил, с ним я и пошел в первый раз. Он с собой никогда ничего не брал, кроме суковатой палки, но когда, бывало, разозлится, –

ох! люди мои милые! – не мало дюжих парней укладывал он этой палкой. Не было атамана лучше его!.. С ним я первый раз на разбой ходил. Давно...

В этот вечер Яхим Нетопырь был грустен.

– Дети меня выгнали, шатаюсь я по ночам, Нетопырем меня зовут, – говорил он. – Были у меня четыре дочки и пять сынов, трое померли, шестеро остались; сыновья и одна дочка. Внуков, правнуков дюжин пять будет, а может и больше. Да... Сначала кормили, жил ничего; как к которому приду, у него и сижу. Что мне в голову ни придет, все мне давали. Эх, не прошло и двух лет, все переменялось. Выгнали. Я вот думал над молодостью их: ничего из них не выйдет, ни стрелять по зверю, ни воровать не идут, сидят на земле, за конями ходят, дрова рубят, сено косят. Ни за что путное не берутся. Думал: ведь должен быть хоть один на свете, что делать что-нибудь будет. Эх, не приведи Господи! Все на земле сели – хозяева. В деда пошли, по матери. Сеют, боронят, пашут, а чтобы молодцами быть – не их дело. Выгнали меня. Позоришь нас, – говорят, – ты, старый вор, разбойник! Эх! кабы я не крал, не было бы у вас, у каждого по коню, да по три коровы, сынки! Не мало сапог износил я ради вашего добра, да больше двадцати лет, коли посчитать, в тюрьме сидел. А мало ли на моей спине палок побывало – в Липтове, на Ораве, в Новом Торге – больше тысячи! Не было б у вас, на чем хозяйничать теперь, кабы не я! Эх! Коль случай подвернется, так я теперь у них у самих бычков повыкраду!

Берегитесь! Миська! Есть там еще горелка?

Подавал ему Каминский бутылку; старик выпил.

Плюнул, губы утер рукавом.

– Хорошо! давай еще!

Выпил еще.

Отнял бутылку ото рта и заворчал: Берегитесь, берегитесь, сынки! Завтра поутру и мы там можем быть. Ха!

Опять отпил. Лицо его покраснело, огромные, выпуклые глаза около кривого носа словно разбухли от блеска, узкие, продолговатые, опущенные в углах губы начали дрожать.

– Гей! Сынки! Хозяева! Тепло вам! Баба постель греет! Гей!

В голове у него начало мутиться.

– Эх! Не бывало на свете других таких молодцов, как Лущики Яркие... Зарево устроили раз такое, что все небо горело... Эх!

Лущики Яркие!.. Эх!.. Хоть одного бы из них в Грубое пустить, к сынкам, к хозяевам... Баба постель греет... Вот бы светло было!..

Вдруг он вскочил.

– Иду!

– Куда? – спросили товарищи.

– В Грубое!

– Зачем?

– У детей ночевать. Будьте здоровы, люди мои.

И прежде, чем те успели оглянуться, он ушел. Захрустели ветки близ избы, зашелестела трава, и старик исчез в лесу.

Спит Каминский, спит Валя; глухая полночь. Зоська Моцарная (она около Заруцкого лежала: ребра у него стальные были) толкает его и говорит: Климек! Смотри-ка! Зарево, или что на небе? Да ведь не светает еще!

Смотрит Климек, говорит: Зарево. Горит где-то.

И заснул опять.

А Зоська Моцарная видела сквозь щели в крыше, как зарево росло и облило небо зловецким багрянцем, от которого меркли звезды.

– Лущиков Ярких поминал Нетопырь, – думала она, – и помянул. Где-то близко горит...

На другой день, когда уже совсем светало и Михал Каминский жаловался, что Нетопырь вчера всю горелку выпил, вдруг он появился в дверях разбойничьей избы. Казалось, будто распрямились его согбенные плечи; в глазах его горел огонь.

– Видели?! – спросил он, запыхавшись, но громким голосом.

– Здравствуй, крестный! А что нам было видеть?

– Ночевал я с детьми! Видели?

– Да как же нам отсюда было видеть?

А у Зоськи сердце дрогнуло в груди от мысли, которая у неё мелькнула.

– Зарево? – спросила она.

Старый Нетопырь торжественно кивнул головой и ответил: Зарево!..

А потом прибавил: Два хозяина, сына, с дымом ушли!..

И тихо стало в разбойничьей избе, даже Михал Каминский широко раскрыл глаза, хоть он мало чему дивился.

– Поджег?!

– Ага! Зашел я к Ендреку, стучу в окно... – Кто? – я, отец! – иди к черту! – Иду к Яську, они там рядом. – Кто?

– Я, отец. – Ну тебя к черту, или к Ендреку! – был я там! – Ну, так убирайся к черту! – я уж дальше не пошел. Горелка мне тоже голову туманила. Эх, – подумал я, – не пойду я по воду ни к Стаську, ни к Кубе, ни к Яхимку, ни к Марине; я уж с вами останусь. Пойдите вы, хозяйева!..

А тут у меня в глазах Лушки Яркие – Юзек покойник, которого за среднее ребро в Микулаше повесили, и Сташек покойник – так и пляшут. Эх! Провели вы меня, безмозглые сынки, вы, старшие, когда я вам наделы оставлял! Взял я огниво, трут поджег. Загорелось в одну минуту!

Он повернулся от двери к долине и поднял руку.

– Хозяйева! Нищие! Выгнали вы меня, – позоришь-мол нас ты, старый вор, разбойник! Сынки! Месть вам за то, что я мыкаться должен! Месть! Теперь будете от голодудохнуть – хозяйева, нищие! Погорельцы!

И он тряс сухой, костлявой рукой в сторону деревни, а глаза у него страшно горели и дрожали его узкие, продолговатые губы.

Тем временем Каминский натягивал струны на скрипку и бормотал:

– Все хорошо, крестный, только вот зачем ты вчера всю горелку выпил?.. Ничего не осталось.

* * *

Потом пришел конец и самой избе.

Начали рубить леса под Кошистой горой, пастбища устраивать, избы строить.

Опустела разбойничья изба, никто её не чинил. Однажды осенью горный ветер сорвал и поломал крышу, стены после этого стали чернеть и гнить. Поросло все кругом всякой травой, и сквозь щели в стенах начали пробиваться зеленые, угрюмые листья лопуха, потом внутри стала расти трава и голубые, сапфирные цветочки. Мох, грибочки от сырости поползли по стенам и осеребрили их бледной зеленью. Расплодился около них ржавый, грустный щавель и темная, сонная крапива. низкие стены стали исчезать летом в густой траве, а зимой под сугробами снега – и с каждым годом все больше и больше. Горный ветер потом разрушил две стены, южную и западную; две другие рухнули через несколько лет под тяжестью снега. Лопух, трава, щавель, крапива, голубые и сапфирные цветочки, белые горные ландыши покрыли весной кучу бревен. Земля стала втягивать в себя гниющее дерево, и через несколько лет от разбойничьей избы не осталось и следа.

Осталась только память о ней, вместе с именами Лущиков Ярких, Косли Горного, или Гонца, Зоськи Моцарной, охотника Самка Зрячего, печального Яся и Терезы Слодычков, да старого Нетопыря из Грубого, который отомстил недобрым сыновьям.

О Марисе Далекой

Ясек славно на скрипке играл, да и песни складывал так, что днем с огнем такого другого не сыскать. Об его игре и песнях молва зашла далеко, знали его хорошо и в Марушине, и в Кравшове, и в Дянише, и в Костелисках... Бабы ведь так и льнут к людям, о которых слава по миру ходит; не даром говорят про таких: глазком подмигнет – с ума сведет. Ну, и к нему девки льнули, – и из баб не одна на него все глаза проглядела. Он и сам от них был не прочь, не дурак парень, да больше так все: с глаз долой, из сердца вон. Замуж за него богатейшие девки хотели, а он и в ус себе не дул, хотя у самого ничего не было, разве то, что получит за свою игру на свадьбе, или в корчме, а то заработает топором, пилой или рубанком, – на все был мастер. Уж такой у них норов, у музыкантов. Что им не по нраву – даром давай, не возьмут: а уж если понравится что – душу отдадут, хоть черту. И ничего с ними не поделаешь, что с твоим дурачком.

Немного Ясек небо коптил в той деревне, откуда был родом. Все шлялся, а особенно летом, когда стада в горы выгоняли, Везде его знали, – придет, сыграет, новым песням научит. И куда он ни придет, всюду его и девки, и бабы не то, что в губы, а руки ему целуют, на колени перед ним падают, как перед иконой. Такое уж он счастье имел. Да только сам он все больше смеялся над ними, и, хоть случалось и ему самому бегать за ними, а никто все-таки не знал, что у него на сердце.

А когда он, бывало, останется один, так что никто его не слышит, высоко ли в горах, глубоко ли в лесах, – сейчас вытащит скрипку из-за пазухи, заиграет, затянет песню на особый лад, как в Татрах поют, по деревням... Так поется она:

Я хожу, хожу по скалам, –
Уж ты, скрипка, пой! –
Вниз гляжу со скал высоких,
Мир весь подо мной...

Вниз гляжу со скал высоких, –
Скрипка, пой звончей! –
Из груди бы сердце вынул
Угля горячей!..

Из груди бы сердце вынул, –
Уж ты, скрипка, пой! –
Я бы сердце отдал милой,
Только нет такой!..

Нету милой, нету милой, –
Скрипка, пой звончей! –
Я гляжу со скал высоких,
Как бежит ручей...

Так и плыла она, Яськова песня.

Повстречался раз Ясек с Марисей Хохоловской из Костелиск; она под Орнаком коров пасла. Странная была Марися Хохоловская – никто другой такой девки и не видывал.

Сядет она, бывало, на камень или на пень, глядит куда-то... – да полдня так и просидит. Дома-ли, в избе, или где у стены – то же самое.

Глаза у неё были синие, мглистые; кажется, смотрит, а ведь знаешь, что ничего не видит. Скажешь ей что-нибудь, сразу повернет голову, улыбнется, да заговорит так сладко, так хорошо, словно меду на сердце польет.

Плясать-ли пойдет, на свадьбу-ль придет, она и с парнями пересмеиваться будет, да только видно, что не то у неё в голове, что не тут её мысли...

А всего больше любила она сидеть где-нибудь одна коров пасти, или запереться дома, в каморке. Ляжет на траве или на кровати, закроет глаза и лежит. Называли ее Марисей Далекой за то, что уходила она куда-то далеко от мира.

Были такие, что взять ее в жены хотели; девка она была красивая, рослая, стройная, как цветок, домовитая, скромная и богатая. Она благодарила и отказывалась:

– Проси ты меня на свою свадьбу с другой, а я тебя на свои похороны позову, – говорит и улыбается так грустно, словно цветы вянут, и так светло, словно вода блестит в ручье.

Было ей двадцать три года, – так она и жила.

И когда Ясек-музыкант повстречался с нею под Орнаком, он уж не пошел в тот год никуда. Остался в Костелисках и сидел там, – все пел:

Радости-утехи я не сею в поле,
Кто ж меня утешит в моей горькой доле?..

И все-то он смотрит на Марисю Хохоловскую, а стоит ей взглянуть на него, как у него скрипка задрожит в руках и он перестает играть, словно у него пальцы замерзают. А девки толкуют промеж себя: – эх! Влюбился наш Ясек в Далекую Марисю! Пожалей его, Боже!

И завидно им было; ведь девка – шельма такая, что, хоть и сама подчас не хочет, а другой завидовать будет. Бывают и не такие, да мало.

А Марися не то, что не рада была Яську; – нет, иногда даже казалось, пожалуй, что она и рада встретиться с ним, да только, много ли тут любви было, Ясек никак понять не мог.

Говорит с ним; играет он – слушает, иногда и сама попросит сыграть, а иногда шепнет потихоньку:

– Сыграй мне о том Янке, что волов пас.

Попросит, и сейчас побледнеет.

Он играл ей эту песню. Знаете?

Уж как нас волов я в поле, где зеленый дуб стоит,
Красна девица приходит: ты зачем тут? – говорит. –
А затем я тут, что надо, – а тебе то знать к чему?
Красна девица лишь знает, да не скажет никому.
А коль скажет, так и скажет, на себя наговорит,
Ведь сама мне говорила: приходи, где дуб стоит!

Играл он ей час, два, не переставая; она слушала и только все бледней становилась.

А потом говорила: «спасибо» и уходила.

И пряталась куда-то, так что никто и найти её не мог.

– Эй, Ясек! Не брать тебе игрой Марисю! – говорили девки.

– А все лучше хоть поиграть ей, чем-с вами целоваться, – отвечал он им.

– Эй, Ясек! Жаль тебя!

– А мне хоть умереть для неё, – и то не жаль!

– Не судьба тебе с ней...

– Но есть Преображение Господне чудесное на небесах.

А потом уйдет куда-нибудь, да как грохнется где-нибудь под сосной лицом оземь... Просто жаль было парня!..

Старик горец, Тирала, умный мужик (он капралом у царицы Терезы в драгунах служил), сказал раз, глядя на Яська-музыканта, когда тот под сосной лежал:

– Эти музыканты – какой-то совсем чудной народ.

Бывают из них и умные, да мало, – за то уж как попадетя дурак, так хуже самого черта.

Был у нас в полку, в третьем эскадроне, горнист, молодец – парень, чех... чудно его как-то звали... Недопил... что-ли?.. Имя ему было Карл... И вот как полюбил он одну девку, служанку, в Вене: бух с моста в Дунай!

– Вот тебе раз! – кричит Антося, его крестница, которой шел семнадцатый год. – И утонул?!

– Вытащили еле живого. Спрашивает его вахмистр: чего ты так сдурел? А он говорит: не захотела меня девка, которую я полюбил.

– А что он потом сделал, крестный?

– Только что его из больницы выпустили, бух во второй раз! За то уж лучше наметил, куда прыгать; так его и не нашли.

– Господи Боже!

– А играть он умел так, что сам фельдмаршал Лаудон дал ему раз на маневрах два талера серебром. Он на этого Яська был даже немного похож, глазами.

– Эх! Хотела бы я, чтобы меня кто-нибудь так любил! – говорит Антося.

– А что бы ты ему дала за это? – смеется старый Тирала.

– А тебе что за дело, крестный? – и все со смеху покатываются.

И шли дни за днями, недели за неделями, а все было по-прежнему. Марися Далекая слушала Яськову музыку, но он не был ей ближе, чем прежде.

– Да спроси ты у неё, – говорят ему девки, – любит она тебя или нет?

– Не смею.

– Так посмей! Ты не мужик что ли?

– А как скажет: нет?

– Пойдешь к другой.

– Нет! Лучше помру!

– Грех так говорить!

– Эх! Мне и небо не мило, и ад не страшен!

– Так уж ты ее полюбил?

А он больше ничего не отвечал.

Вот настал раз солнечный день, такой бодрый, такой погожий, какого не было еще тем летом.

Встал Ясек поутру, поднял голову, поглядел на небо, на горы и говорит про себя: Правда! Не мужик я, что-ли? Надо ж так или этак решиться.

И идет он прямо к Марисе, находит ее: она стоит над ручьем, наклонившись, зажала подол меж колен, ноги до колен голые – белье моет.

– Марись! – говорит он.

Марися выпрямилась.

– Что?

– Марись! Не могу я дольше выдержать. Люба ты мне.

А она покраснела и сейчас побелела вся.

– Люба ты мне, – говорит Ясек. – В жены бы взял я тебя.

А она грустно качает головой: нет, мол.

– Нет? – говорит он, и видно, что у него в глазах потемнело.

– Нет.

- Никогда?
- Никогда.
- Последнее слово?
- Последнее.

Едва мог он выговорить:

- Отчего? Я тебя люблю, как свет Господень...
- Так мне и оставаться. На веки. Ни за кого я не выйду... никогда...

Отвернулась, наклонилась, опять взялась за стирку.

Хотел Ясек с ней еще говорить, да только не отвечала она. Слезы стали подступать к его глазам, хоть не плаксивый был парень: сдержал их, не пустил из глаз на лицо, но казалось ему, что все они стали падать по капле в сердце, как расплавленный свинец, который он видел на плющильне в кузне.

Ушел.

А Марися Далекая стала с той поры совсем другой с ним. Бегаёт от него, иногда обидное слово скажет, не попросит сыграть, а когда он играет – не слушает. Слово он что дурное ей сделал: льдом от неё на него веет.

М грызло же горе несчастного Яська. Что он ей сделал? Сказал, что любит ее. Да разве он ее неволит? Разве докучает ей? С первого же слова отстал он от неё, как отскакивает ветка от сосны, когда в нее гром ударит.

Думает он и думает... Что тут за причина может быть? Что не люб он ей... Ну что ж, всякое бывает... Но чтобы ни за кого идти не хотела такая девка, красивая, здоровая, молодая... Не понять!

Тут что-то должно быть...

Уж не тяжкия ли слезы какие?..

Ведь не даром поют:

Умру я, матушка, не от хворости,
Умру, родимая, от тоски-змеи.

И так было ему плохо, что справиться с собой не мог.

– Эх! – говорил он, – лучше бы мне на осине висеть... Что я ей сделал? Что я ей сделал? Ведь не обидел ее, ведь слова ей не сказал... Радость моя...

И уходил куда-нибудь в лес и играл.

А играл он так, что, когда Антося, Тиралова крестница, раз под лесом коров пасла и игру его услышала, так ее его игра за душу взяла, что она навзрыд заплакала, да так весь день и редела.

- Чего ты плачешь, девка? – спрашивает ее Тирала.
- Я... Ясек... так... играет, крестный...
- Ну и пусть его играет.
- Да и у меня так... на сердце... люто, что неволю...
- А что ж тебе неволю?
- Не знаю... крестный...
- Уж не тянет-ли тебя к нему? – смеется Тирала.

Антося сразу проглотила слезы и разозлилась:

– А к кому меня должно тянуть?.. Не к тебе-ли? ишь, тоже, репа сушеная, за кого принялся... Ишь...

Пока еще стояла погода, Ясек шлялся со скрипкою по лесу и крепился, как мог. А когда залили ливни, когда подошли туманные, пасмурные, скучные осенние дни, когда вершины запорошило, когда мгла, мрак пали в долины – у него от тоски чуть сердце не выскочило.

и любить она его не хотела, и не знал он, чем немил ей стал, чем ее обидел, что ей дурного сделал. И не знал уж, что хуже: то или другое? За любовь бы жизнь отдал, обиду бы жизнью искупил... Да.

Раз после полудня Марися что-то разнемоглась, не выгнала коров, – он видел, что она вошла в шалаш, где варят обед. Пошел за ней.

Вошел молча. Сел у стены на лавку, и она на лавке сидит, не смотрит на него.

Прошло уж много времени, а они все молчат; снял Ясек скрипку со стены, стал брэнчать пальцами по струнам. Побрэнчал раз, другой... Потом зазвенел пальцами на струнах:

Уж как пас волов я в поле, где зеленый дуб стоит,
Красна девица приходит: ты зачем тут? – говорит.

А Марися в слезы. Сначала сдерживалась, – а потом плач прорвался, как огонь.

Ясек вскочил с места:

– Марись! Что такое? Чего ты плачешь?

А она все плачет.

– Чего ты плачешь?! Твои слезы, как камни для меня... Скажи! Отчего ты со мной такая? В чем виноват я перед тобою? Чем я тебя обидел? Марись!

– Эх... ни в чем ты не виноват, ничем ты меня не обидел... Только зачем ты, зачем на струнах заиграл...

– Да ведь я не раз тебе играл, и ты не плакала, – говорит Ясек.

– Не надо было... теперь... – говорит Марися. Задумался Ясек... Думал минуту, потом бросил скрипку на землю, ногой толкнул. Берет руки Мариси, целует.

– Прости! – говорит.

– Не в чем... Чем ты виноват?.. Ничем, – отвечает она.

– За что ж ты сердилась на меня?

– Не сердилась я... нет... не понять тебе того никогда... никогда.

– Не сердилась?! – кричит Ясек, поднимая на нее глаза.

– Нет... только сердце у меня наболело...

У Яська слезы стали навертываться на глаза, но он удержал их.

– Отчего у тебя сердце наболело? – спрашивает.

– Если бы знал ты... Болело оно у меня, болело, да тихо, а теперь громко заболело...

– Из-за меня?

А у Мариси снова слезы брызнули из глаз. Видно, себя уже не помня, стала причитать она, рыдая... – И любила я его, любила...

И шатается, словно вот-вот упадет. Едва о стену успела опереться, да Ясек ее поддержал.

– Это он так пел... когда коней пас... Я его спрашивала, а Зоська Чаювна знала, что... И любила я его, любила...

Больше не могла говорить она, затихла... А Ясек целует ей руки, колени. Тихо стало в шалаше, только синий огонек на костре пляшет.

– Не хотел он меня, – говорит Марися, помолчав. – Взял Зоську Чаювну, женился. Ничего я ему не говорила, да знал он, что я гибну... Эх, когда их венчать вели... в Хохоловский костел... когда их вели...

– Марись...

– Стой... пройдет... Вели их... А я стояла в сторонке... Когда им ксендз руки соединял...

– Марись...

– Стой... Взял их руки, кольца обменял, повенчал, клятву взял... и он уж стал её... Вышел он из костела... Перо у него было на шапке, красные ленты на воротах... А она в венке. Эх, Ясек, сто лет буду жить, не забуду...

– Марись!

– А я осталась там. У костела, у стены. Никто меня не видал... Поехали... И заиграла ему музыка его песню, эту самую... Простояла я там до-утра... Просила Бога, чтоб смерть ко мне прислал – не пришла... И клятву дала, обет: если вас ксендз связал на веки, так я Тебе, Господи, клянусь и обет даю, если уж Ты мне этого счастья дать не захотел, что меня никогда не поведут к алтарю в венке, никогда, никогда... только в гроб меня такую положат...

– Марись!

– А он уехал с ней, как поженился, в Долгополье... Видела я его потом много раз, все больше в Людимири, на храмовом празднике; они туда все ездят, оттуда их приход близко. Сама я туда хожу, по доброй воле... Уж четвертый год... И буду ходить...

– А не больно тебе?..

– Больно... Да ведь там я хоть вижу его... Дети у них... двое... Мальчишки... Глаза у них карие, как у него... Видела я... Хоть это и её дети, а поцеловала бы я их в эти глаза... Эх, Ясек...

– Эх, Марись...

– И так я и останусь навеки, с болью моей...

– А что ж теперь будет со мной? – говорит Ясек.

– Уйди от меня, оставь меня, – говорит Марися. – Другую найдешь. Ни у кого со мной счастье не вырастет. Такая уж моя судьба проклятая.

– Эх! Так вот отчего холодом от тебя веяло!.. А мил я тебе? Хоть немножко?

И берет он её руки, а она сжимает их пальцами, к груди прижимает и говорит:

– Мил, очень мил...

И вырвалась, и убежала из шалаша.

А Ясек остался там и так и не двинулся с места; – пришли пастухи, нашли его там, как мертвого.

– Что с тобой, Ясек? – спрашивают.

– Не хотел меня Господь Бог взять, так пусть черти меня берут! – сказал он и вышел.

Пошел он искать Марисю, – нашел ее в хлеву, коров она доила. Лампочка с ней.

– Марись! – говорит Ясек, – я тебя так не оставлю, я не хочу так тебя оставить. Я не такой, чтобы всегда на своем поставить хотеть, не такой, чтобы брать тебя силой, неволить.

Если б ты была бедной, а я богатым... А так... коли не любишь меня, на что тебе я? Что тебе моя скрипка и слава, что о мой по свету идет!.. Бросил бы я тебе к ногам и мое сердце кровавое, и мою любовь сердечную!

Только так я тебя не оставлю, не прошусь так с тобой... Ты для меня, как святая, ты для меня словно из сонма ангелов сошла на землю. Я один на свете, как явор, засохший на поляне.

Никого нигде нет у меня; я людям играю, а у меня в сердце играет только ветер... Будь мне сестрой.

И упал он к её коленям, обнял их, а она поставила ушат с молоком на землю, положила ему руку на голову и говорит:

– Я уж никому ничем не могу быть, мне одна смерть осталась... Разойдемся... Иди в другие места. Оставь меня с моей болью...

– Эх, Марись, Марись! – говорит он. – Видит Бог, если б мог я взять на себя твои раны, чтобы полегчало тебе, чтобы лучше было...

– Иди! Мне уж ничего на свете не осталось... гроб один...

И подала она ему руку, и толкнула его слегка к двери.

Закружилось у Яска в голове, заломило в груди.

Идет он, идет в лес, к Тамановой горе, а сам не знает, куда.

Наконец, сел под сосной, уж над лесом темно совсем стало, снег порошил вместе с дождем, мгла покрыла горы. Вынул он скрипку из-за пазухи, смотрит на нее и говорит:

Скрипка, ты, скрипка! Что ты мне в жизни дала? Что наиграл я на тебе в жизни? Чего я не хочу, то мне само в руки лезет, – а за что бы я душу отдал, то не мое... Что мне ты, коли счастья моего ты мне наиграть не можешь, – что мне слава по деревням? Эх, скрипка, ты, скрипка!

И провел он смычком по струнам, хотя метель завывала с гор, и запел:

Ухожу я в мир широкий, –
Уж ты, скрипка, пой! –
Сердце замерло от боли,
От тоски тупой...

Сердце замерло от боли, –
Скрипка, пой ты мне! –
Ты ж, печальная, ты, Марись,
Умирай в тоске!

Умирай в тоске ты, Марись, –
Уж ты, скрипка, пой! –
Схоронят тебя под лесом,
Да с твоей тоской!

И вспомнил Ясек-музыкант обрученье Мариси, и казалось ему, что он смотрит в какую-то страшную пропасть, в бездонную глубину.

– Эх! Вот каким льдом от тебя веяло! – повторял он, и казалось ему, что у него земля из-под ног уходит от скорби над своей и Марисиной любовью.

А как хорошо могло бы нам быть! – думал он.

И казалось ему, что он слышит, как Марися Далекая, лежа в избе лицом на подушке, шепчет:

– О сердце, сердце! О сердце, сердце!

О Марине, войтовой дочери

Как Марина-то у нас
Ходит к мельнице одна,
Да и с мельницы домой,
Никому муки не даст, –

пели о Марисе Кружлёвой, войтовой² дочери из Рогожника, а потом запели о ней и еще другую песню:

Да как Мацек, войтов зять,
Показал дорогу ей...

Да это потом, уж после свадьбы: он ей показал, по какой дороге в жизни надо ходить.

Такая была она девка, какую не скоро в околке сыщешь. В Людимири ли, на храмовом празднике, или в Черном Дунайце, на ярмарке, не было мужика, который бы на нее не загляделся; не было бабы, которая бы не покосилась на нее злыми глазами.

Высокая, стройная, с гордо поднятой головой, брови – словно углем намазаны, высоко над глазами, густые, длинные и блестящие, лоб гладкий, глаза огромные, голубые, прямой нос, маленькие розовые губы, круглый подбородок, черные волосы, да с таким блеском, словно их кто-нибудь отполировал, и такие длинные, что она могла ими закрыться, как платком. А краска на лице, загорелый румянец на смуглой коже, а шея, гибкая, упругая, а грудь, что так гордо дышит под корсетом: дрожь проймет, когда помотришь, – а изгибы в талии, точеные бедра, гибкие, полные, – а все тело, словно из мягкого железа выкованное. А голос!.. Как запоет она, чудится, будто весь мир тает... Шла она в толпе, так, будь тут самая что ни на есть давка, ей не надо было говорить: «дайте-ка дорогу,» – каждый сторонился, только взглянув на нее.

Да и во всем прочем была Марина счастлива.

Богатая была она девка, гордая, неприступная, знала себе цену.

Отец её, войт, старый Баргек Кружель, был вдовцом: одна она у него была, и свету он за ней не видел. Было у них пятьдесят десятин земли, пять – лесу, большое хозяйство и мельница.

Марина все на мельницу ходила, все за мельником присматривала, да затем, чтоб кто-нибудь и горсти муки не украл, так что даже в песнях об этом петь стали; да только за глаза, а в не в глаза. Такие у неё глаза были, словно горячие угли, словно кто под водой огонь развел. Как взглянет она на кого, так, если ему еще семидесяти годов не стукнуло, дрожь его проймет до мозга костей. Один парень из Островка с вином ехал, да как увидел ее, уперся в воз спиной, и ни ногой, ни рукой шевельнуть не мог, языка лишился и только рот раскрыл.

Она ему улыбнулась и прошла мимо, а он потом говорит: Да это нечистый, что-ли, бабой обернулся?! Эх, если б такие в пекле водились, хотел бы я гореть там, хоть по уши!..

Не любили ее люди за гордость и неприступность. Было ей уж лет двадцать, а замуж еще она не хотела выходить, да никому и не доводилось слышать, чтобы у неё был жених.

Никто ею не хвастался.

– Что ж, ты замуж выходить так и не хочешь, Марина? – спрашивает ее тетка.

– А есть разве парень мне под стать? – отвечает она.

– А знаешь, как поют:

² Войт – нечто в роде нашего волостного старшины.

Что же ты, красотка,
На меня не смотришь?
Не возьму тебя я –
Не возьмет и шляхтич.

– А слышала ты, тетка, что старый Буц говорил? Как царевич приехал к дочери колесника?

– Сказки! Как бы ты не царевича, а и простого горца не проспала!

– Не в терпеж тебе!

Глаза у неё загорелись, зубы стиснула: как в такой девке крови не играть! Только гордость да спесь ее, как на привязи держали. Она вся бы измучилась, но скорее отказалась бы от того, от чего у девок душа замирает и дух захватывает, чем от своего характера отступить. Такой уж она уродилась.

И вот, должно-же было случиться, что повстречался с ней Ясек музыкант.

А было это так. Никак не мог он позабыть Мариси Хохоловской, все еще любил ее, хоть прошло, может быть, года три как она отказала ему. Не ходил он больше в Костелиски, мало даже бродил в Зимнем или Скалистом, как его зовут, Подгалье, и все больше держался деревень в долинах. Даже играл меньше, все работал на лесопильнях, – да за то уж, когда начинал играть, так играл еще лучше, чем прежде. Довольно того, что венгерские цыгане, которые играли даже в самом Пеште, хотели взять его в свой табор, да только он не захотел. Узнал он, что у Гонсёрка в Рогожнике есть работа, и нанялся к нему.

Девки, бабы обрадовались, – слыхали они о нем (тог-мол Ясек, что славится красотой своей и так грустно кончил из-за бесчувственной девки), что он такой музыкант, какого другого в целом мире нет. Говорили и то, что он за эти три года ни с одной бабой дела не имел. Он в Рогожнике на девок смотрел так, как на ворон, что на соснах сидят. Так они ему нужны были.

Но это продолжалось недолго. Говорит ему раз Куба Гонсёрк, хозяин лесопилки:

– Знаешь, Ясек, будь добр, снеси ячмень смолоть на мельницу.

– Ладно. Снесу.

А старый Гонсёрк посмеивается и говорит:

– Мельничиху видел?

– Какую?

– Да войтову дочку.

– Нет.

– Ну, так держись! съест она тебя!

– Э, коли меня до сих пор никто не съел, так и она не съест.

– Держись, говорю. Тут один парень из-за неё в Пешт удрал. Куба Гонсёрк, тоже наш, из Рогожника, так запил, что не приведи Бог. Вацлав Яхимяк – тот совсем одурел. У меня у самого, хоть и стар я, в ушах звенит, когда я ее вижу. Важная девка, что твой дуб!

– Не боюсь я!

– У тебя, может, талисман есть?

– Есть.

Тут старого Гонсёрка любопытство разобрало. Наклонил он к Яську свою голову с длинными кудрявыми волосами, заплетенными в косички на висках, и спрашивает:

– Что у тебя? Что? Никому не выдам! Скажи!

– Да что есть, то и есть, – что тебе за дело!

– С собой носишь?

– Всегда ношу.

– Где? За поясом?

– Да и за поясом можно, только больно широкий пояс нужен.

– Как так? Не пойму...

– Эх, отец, знаешь – такой широкий, чтоб за него сердце можно было спрятать. Где же ячмень?

Посмотрел на него старый Гонсёрек, спрашивает:

– На сердце его прикладывают?

– Ну?

– Скажи, как? приклеивают? Это пластырь, что-ли, какой?

– Не приклеивают, а глотают, чтобы в сердце влезло, – говорит Ясек.

Старый Гонсёрек наклонил голову:

– Чудно ты что-то говоришь, – а покажешь мне? может, и я проглочу?

– Э, нужно бы тебе в Костелиски съездить; там бы и узнал, как я.

– А он оттуда?

– Да.

– А кто-ж тебе дал его?

– Чего-ж ты так спрашиваешь! Где ячмень?

Старый Гонсёрек помолчал минуту, потом рассмеялся и говорит:

– Правда, нечего мне спрашивать, когда у меня у самого на голове талисман. И погладил себя по седым волосам.

– Пойдем, Ясек, насыпать ячмень в мешок.

Идет Ясек, несет мешок на плечах, подходит к мельнице, а тут, перед самой мельницей, стоит Марина.

– Молоть? – спрашивает.

Посмотрел на нее Ясек, ноги у него подкосились, весь побледнел.

Маринины глаза, как молния, в него ударили.

Она слегка улыбнулась, так, что едва что-то промелькнуло на её губах, и свысока, смело, глянула на него, а он стоит перед ней, нагнувшись со своим мешком.

– Иди, – говорит она, – я приму. Ясек отдал мешок мельнику.

– Ты не здешний? – говорит Марина. – Ты Ясек-музыкант от Гонсёрка.

– Да.

– Приходи завтра за мукой.

– Приду.

Хотел он ей сказать: «оставайся с Богом», но она больше не взглянула на него и пошла лугом домой.

Ясек собрался назад.

Вдруг как зазвонит Маринин голос!.. И такую прекрасную песню она запела, такую сладкую, такую чудную, словно мать колыбельку качает.

И не мог Ясек понять, как у такой, с виду гордой и спесивой девки может быть такой милый, такой ласкающий голос. Насквозь пронзил он ему сердце, ведь он был сам музыкантом и чувствовал это лучше, чем другие.

Идет Ясек, оглядывается, а она по лугу идет, в желтом платке на голове, в белой рубашке, в красном корсете и в красном переднике на темной юбке, – играет на солнце, как цветы на лугах, горит, как огонь вдали. И загляделся на нее Ясек.

А издали её песня еще слаще, еще лучше:

Яничковы песни

По свету гуляют,

Как овечки летом

По борам сосновым.

Яничково имя
Никогда не сгинет,

Как в горах высоких,
Так и тут в долине.

Голос звенит, а у него сердце тает. А она все поет:

Приходи ты смело,
Коль в оконце сено;

Коль в окне солома,
Значит, батька дома...

У Яська сердце подскочило.

А она исчезла с песней в ивовой роще, что росла под деревней.

Дрожит у Яська сердце, и думает он: эх, да что уж там! Так только, поет себе... Куда мне такая девка... И не взглянула даже...

Так, не веря себе самому, шел он к лесопилке, и все у него дрожало внутри.

– Ну, как там? – спрашивает его Гонсёрек. – Отдал ячмень молотъ?

– Отдал.

– Войтову дочку видел?

– Видел.

– Ну что?

– Ничего.

– Ничего?

– Ничего.

– Спасло тебя то, что ты в Костелисках проглотил?

– Где доски, которые нам пилить надо?

– Ох! – думает старый Гонсёрек. – Спасло, коли ты так на работу падок! Поди, выпей-ка с полковша этого снадобья! – И сказал вслух:

– Доски? Доски-то готовы, бери! Да только мне сдается, что у тебя нынче руки будут дрожать!

Ясек ничего не ответил и пошел пилить доски.

А старый Гонсёрек отправился подмазывать телегу (он собирался на ярмарку в Новый Торг) и, насаживая колесо на ось, бормотал:

– Помилуй Господи, что за чаровница эта девка?! Да не только она, а все бабы! А где чары: в голове-ли, в ногах-ли, или где... или во всем вместе... За то уж, когда дорвешься, так и съест готов. Эх, что уж... Стар я стал! Семьдесят годов минуло... Вот если бы мне лет двадцать скинуть!.. Да уж, что пережил я, то пережил, что видел, то видел... Видел я и Антоську Курнотку, и Касю Длугопольскую, да и первая моя жена, покойница, важная была девка... но одна из них могла бы сердце с корнем вырвать, – да все-таки такой, как Марина, я не видывал... Слышал я от старых людей про ведьм, которые много зла людям делали, – они вот такими, верно, были. Не знай я, чья она, не знай я её отца, её матери-покойницы, не знай я, что ее носили крестить в Людимир, не знай я, кто ее крестил, – я бы сказал: а черт ее ведает, кто она такая? Откуда она взялась меж людьми? На какой планете, или в какой пещере выросла? Какие чертовы цветы обернулись в её губы и глаза, ведь таких еще ни у одной бабы не было... Ха... Ну, здорово смазал я воз, не будет скрипеть, не будет моя баба драться от злости, сидя

на нем. Эх!.. кой черт велел мне молодую бабу брать?! Не приведи Господи!.. Кабы мне годов двадцать скинуть... Божья воля...

Так бормотал про себя старый Гонсёрек, хозяин лесопилки, старательно подмазывая воз из страха перед второй своей женой.

А у Яська-музыканта все таяло внутри.

Режет он доски, пилит, а в глазах у него все стоит красота Марины, а в ушах все звенит её голос.

Марися Хохоловская, Марися Далекая была, как мед, а эта – как огонь. Сразу заманила его своей песней, польстила ему потом – а зачем? Что она не без причины пела, это он знал наверно. Должно быть, видела его где-нибудь, скорее всего в костеле, должно быть, кто-нибудь показал ей его...

У несчастного Яська-музыканта такое уж сердце было: пусть триста баб к нему на шею подряд вешаются, он – ничего... но уж если какая понравится ему – пищи пропало! В нем уж ни жил, ни костей не было: воск.

– Сгину я из-за неё! – думает он.

– Ну, а если походить около неё? – думает он опять.

– Эх! что-ж ты там выходишь? – говорит он себе. – Не твое тут счастье нужно!

– Там у меня счастья не было, так, можот быть, тут меня Господь благословит!

– Ну! и не таких, как ты, Он не благословлял...

– Вот, повидать бы ее еще раз.

– Да ведь завтра пойдешь за мукой...

– А Марися, та, Хохоловская?

Но воспоминания о Марисе Хохоловской вдруг исчезли в чутком сердце Яська-музыканта, как пыль под дождем.

– Марися? Далекая?.. Кабы она захотела меня... Да ведь она никого не хочет... никогда...

И это огромное слово окончательно подавило в Яське его внутренний разлад.

В тот же день вечером (это было в июне, в ведряную погоду) Ясек, сидя на пне, на котором рубили дрова, долго играл на пищалке из вербовой коры – он на всем играть умел. А старый Гонсёрек, лежа в кровати, бормотал про себя: Пищи, пищи – еще лучше запищишь, не бойся!.. слава Богу, Маргарита спит... Слава тебе, Господи... Пищи, пищи – уж у тебя душа сквозь дырки пищалки вылезает... того и гляди, будет она у тебя по всему телу прыгать, как птица – с ветки на ветку... Эх, дай Господи, чтоб Маргарита до-утра не просыпалась... Еслиб мне лет двадцать скинуть...

Ясек в ту ночь мало спал. Заснул он, когда уж светать начинало, и заснул крепко. И снится ему крестный ход – идет с ним Марися Хохоловская, повернула к нему лицо (он с ней рядом стоит) и говорит:

– Эх, Ясек, такая уж моя судьба проклятая!..

И исчезла... а его что-то толкнуло, так что он словно в пропасть полетел.

Поутру идет он на мельницу за мукой; чем ближе подходит, тем жарче ему делается. Марина стоит в дверях.

– Да славится имя Господне, – говорит Ясек и приподнимает шапку.

– Во веки веков. Аминь, – отвечает Марина.

– Мука есть?

– Есть.

Сама отмерила ему, и то и дело, словно невзначай, – то локтем толкнет, то юбкой заденет. Боялся он много глядеть на нее, а как только взглянет – и она на него в упор смотрит, а глаза у неё горят, как свечи у алтаря. Дрожь его пронимает.

– Эх! не тебе, дураку, чай пить, – Думает он про себя.

А когда он уже собирался уходить, Марина говорит ему:

- Ясек, знаешь, я прогнала батрака, что за лошадьми ходил... Не пойдешь-ли ты к нам?
 - Я?
 - Ты.
 - К вам?
 - Ну, да.
- Смотрит он на нее: она стоит перед ним, как заря.
- А разве вы захотите меня? Правда?
 - Да, конечно! Что ж я с тобой шутить буду...
- У Яська то светлело, то темнело в глазах.
- Пойду.
 - Прощайся с Гонсёрком. Перебирайся к нам.
 - Говорила ты войту? отцу?
 - Отец все сделает, коли я захочу.
 - Так когда?
 - Да хоть сегодня.
- Идет Ясек прощаться с Гонсёрком, а Марина сидит на пороге – и поет:

От любви несчастной,
от любви проклятой
Изнывает сердце,
как в цепях железных...

Мчались за Яськом эти тоскливые, звонкие звуки, рассыпались по миру, как листья березы, как блестящие осенние паутинки, и звенели у Яська над душой, оплетали ее, так что у него кровь от рук и от ног к груди отливала.

Так звенела, мчалась за ним Марилина песня.

– Съест она тебя! – говорит Яську старый Гонсёрек, отдавая ему плату за службу.

– Ну, так пускай ест! Знаешь, как говорил Яносик, когда его пытали и хотели вешать: коли вы уж спекли меня, так и ешьте! – ответил ему Ясек.

И настало для него странное время.

Марина, как царевна, ходит по хозяйству и на мельнице, а он при ней, как при царевне. Никогда ни слова, ничего.

Сохнет Ясек, есть не может, спать не может, мучится...

А у неё только все глаза горят, как пылающие звезды, да груди готовы рубашку изорвать под корсетом, да бедра волнуются, как волны на озере. Ясек совсем власть над собой теряет, – доняло это его, как болезнь.

И он так робел перед Мариной, что не мог себя заставить сделать к ней шага. Слова у него застревали в горле и в груди.

И вот раз, поутру, он подумал: – чего мне горе мыкать! Брошу все и пойду к черту! – так и решил.

И случилось так, что к Кружлям в обед пришел ребенок, маленький трехлетний мальчик, сродни войту.

– Ты зачем пришел? – спрашивает его старый Кружель.

– За яблоками, – отвечает ребенок.

– А рад меня видеть?

– Рад.

– А эту девку любишь? – спрашивает его войт, показывая пальцем на Марину.

А мальчик говорит: – Не люблю.

– Не любишь меня? – спрашивает Марина.

– Не люблю.

– Ни-ни?... Вот ни столечко...

– Не люблю.

– Ни столечко? – и показывает кончик пальца и улыбается так, что мальчику показалось, будто фуксии на окне наклонили к ней цветочки и слушают.

– Ни столечко?

Мальчик подумал и ответил: столечко...

А у Марины глаза заблестели, словно тихие закатные звезды.

И Ясек-музыкант остался ходить за лошадьми у войта.

Случилось раз, что мельник заболел и Ясек заменял его; что-то испортилось в колесе: чинит он вместе с Мариной. Чувствует Ясек на спине своей её высокие груди, чувствует её горячее дыхание на шее, чувствует ее всю, когда она наклонилась над ним. Думает: не выдержу! Будь, что будет! Обернусь схвачу ее, хоть раз поцелую ее в розовые губы, хоть раз к себе прижму...

Да храбрости не хватило. Такой уж он был: первую встречную девку обнимал, не спросивши, а та, что нравилась ему, всю силу у него отнимала. И долго они так стояли; у него дрожали руки, когда он поправлял колесо, а её слабо заплетенные волосы рассыпались вокруг головы и щекотали ему шею. И сколько раз он ни думал: будь, что будет! Обернусь! – каждый раз у него в груди не хватало воздуха, а в сердце храбрости.

Починили мельницу. Казалось Яську, что Марина как то странно посмотрела на него, прежде чем уйти.

– Эх, кабы ты была не такой! – думал он, кусая губы. – Не такой красивой, не такой гордой, не такой богатой!.. Эх, кабы ты была не такой.

Эх! если б она была не такой!.. Была бы даже такой же красивой, такой же гордой, да не такой богатой... Что она подумает, прежде всего? Что ему эти пятьдесят десятин земли, пять десятин леса, да лошади, да коровы, да овцы, да мельница милей, чем она сама. И взглянет на него так, что он не вынесет этого...

Правду говорил старый Шимек Тирала, что музыканты какой-то особенный народ; есть среди них и умные, да мало, за то уж, как попадетя дурак, так хуже самого черта. Ведь каждый, кто бы ни женился на Марине, думал бы сначала о её приданом, а потом уж о красоте, – и никто бы, и она сама, не дивился этому. Да Ясек был из тех, дураков.

– Этакая девка! – думает он. – Ведь сам пан Юзеф Тетмайер из людимирской усадьбы, тот, что стихи пишет, мог бы взять ее в жены, и уж верно его отец, пан Войцех, что правой рукой себя по волосам гладит, а левую за пояс кунтуша засовывает, ничего бы ему не сказал...

Если б она была бедной... А так...

Послушал бы кто-нибудь из мужиков, или баб, как он рассуждает, наверное бы сказал: а ведь он глуп, как козел!

Вскоре потом случилось, что Андрей Кружель, двоюродный дядя Марины, выдавал дочку замуж.

Играет Ясек на свадьбе, с ним еще скрипка, да бас. Девки, как серны, как цветы, да куда им с Мариной равняться.

Играет Ясек и ничего не видит, кроме неё.

Пришел на эту свадьбу Мацек, сын прежнего войта в Рогожнике. Он только что из военной службы вернулся, в уланах служил; красная шапка у него на голове, синяя куртка, красивый парень, ловкий, сильный и не бедный.

Когда он засеменял плясовую, казалось, будто он искры каблуками высекает, хоть у него каблуков не было.

Как обнял он Марину – эх! как понеслись они! Марина вся в огне, а он ее обнял, к себе прижал, по воздуху несет. В огне и Ясек.

Позвали есть.

Была уже поздняя ночь. Вышел Ясек в поле отдохнуть; он устал играть, да это еще ничего: сердце у него разрывалось от грусти, от ревности, от боли, от гнева. Он играл, играл так, что со смычка волосы так и сыпались, а тот прижимал ее, а тот носил, а тот льнул к ней грудью! Эх! тысяча чертей и одна ведьма!

Идет он около маленькой избушки и слышит за стеной шепот:

– Ты должна! Говорил это мужчина. А другой голос тоже шепотом ему отвечал:

– Не должна!

Это был женский голос.

– Должна!

– Нет, не должна!

– Нет, должна!

Улыбнулся Ясек, отошел, походил с полчаса по полю и вернулся на свадьбу. Смотрит: ни Марины, ни Мацка нет. Его и в жар и в холод бросило. Выбежал он из сеней, хватить камень из под ног, сжал его в кулаке и вдруг встретил Марину. Узнал ее, – свет из окон падал.

– Где была!?! – спрашивает ее Ясек и заступает ей дорогу.

Вздрогнула Марина, остановилась, потом хотела идти дальше, но не ответила.

Но Ясек уже не уступал. Схватил ее за руку, сжал, уставился на нее.

– Где была!?! Говори!

Рванулась Марина, сморщила брови, так что они сошлись у неё на лбу, но потом оставила руку в его руке и ласково сказала ему.

– Пусти меня, Ясек, что с тобой? Что ты мне дорогу загораживаешь, как разбойник, я ведь знаю, что ты любишь меня. Ну, так я тебе скажу, где была. Ходила домой, башмаки переменить; новые ногу мне жали.

– А не была в избе?

– В какой избе?!?

– Да там, у сада!

– В дядиной?

– Ну, да!

– Нет!

Сжала зубы, снова наморщила брови. Испугался Ясек, что может рассердить ее. Пустил её руку и не сказал ни слова. Вошли в избу; она впереди, он за ней.

Он уже сидел у стены, уж играл, когда снова увидел Марину в толпе. Она была бледна и не танцевала.

– Отчего не танцуешь? – спросил он, когда она оказалась близ него.

– Нога у меня болит. Наступили на нее.

А Мацек бросил ему три монеты на скрипку, запел горскую песенку и стал плясать с молодой.

Ясек играет так, что струны скрипят, тот поет, Марина не танцует, стоит вся бледная у стены... Хочется Яську бросить скрипку о землю, вскочить, схватить Мацка за горло... А, может быть, и не они там были, мало ли девок, мало ли парней разбежалось, когда стали ужинать... И звенит, и звучит у него в ушах и в сердце её голос: «ведь я знаю, что ты меня любишь... Была дома, башмаки переменяла... Ясек...»

* * *

Не прошло и четырех недель, как объявлено было о дне свадьбы Мацка с Мариной. Хотел Ясек бросить все, бежать ко всем чертям, но вот раз Марина говорит ему:

– Поиграй, Ясек, на моей свадьбе...

И он остался.

А Мацек приходил к Кружлям каждый день, всегда веселый, всегда смеется, всегда в духе.

Раз, когда Марина за ужином что-то дерзко ответила отцу, он говорит ей:

– Знаешь, Марина, ты помни: если бы ты мне когда-нибудь так ответила, я бы тебя так погладил, где надо, что ты бы три дня сесть не могла!

Заблестели глаза у Марины; они простоквашу ели, – подняла она руку с ложкой и говорит:

– Эй! Как бы я тебя сейчас не смазала!

Мацек сжал кулак и говорит:

– Смажь!

Посмотрели они друг на друга минуту, Марина опустила голову и стала есть. А старик Кружель, войт, говорит:

– Так и надо, милый человек! Коли баба на тебя с граблями, так ты на нее с цепом; коли баба на тебя с ножом, так ты на нее с косой. Так и надо, милый человек.

А у Яска сердце замирало. Ночью идет он по двору, а Марина сидит на пне около хлева и плачет.

– Чего ты плачешь, Марина? – спрашивает он ее нежно и со страхом: он ее первый раз в слезах видел.

– Бить он меня будет.

– Кто?

– Мацек.

– Так не выходи за него.

– Как же!.. Когда он хочет...

– Да ведь ты можешь не захотеть.

– Не могу.

– Любишь так?

– Нет... Он словно околдовал меня.

– Тебя?!

– Да...

Молчат.

– Ты тогда была в избе? на свадьбе?

– Да...

Ясек тяжело опустился рядом с ней.

– Я знал, я чуял, что это ты...

Марина плачет.

– Марина, слушай, – говорит Ясек через минуту, – зачем ты меня нанимала?

– Нравился ты мне.

– Я?!

– Ты.

– Зачем же ты говоришь мне это теперь!? Господи Боже!

– Нравился ты мне... Слава о тебе по миру ходила. Говорили о тебе.

– А теперь?

– А теперь ничего... пропало...

– Пропало?!

– Навсегда.

– Отчего? Отчего?

– Теперь ты для меня все равно, что ничего.

– Отчего? Я ведь у твоих ног лежал бы. Я ведь был бы тебе верен, как пес! Я бы смотрел на тебя, как на звезду...

– Это-то мне в тебе и не нравится... Мягко ты.

– Тот лучше, что будет бить тебя?

– Да, за то он не баба!

Схватился Ясек за голову обеими руками.

– Марина, зачем ты это мне сказала? Господи!

И качает несчастный головой, и отчаянная скорбь его охватила. А она ему повторяет:

– Мягко ты был. Отчего ты не схватил меня, отчего ты не обнял меня? Теперь я словно заколдована...

– Эх! Так вот как надо было! – говорит про себя Ясек. – Эх! так вот как надо было...

А я не знал...

И низко опустил голову.

– Если б ты меня еще тогда, когда я из избы шла, не отпустил... Когда б ты мне не поверил, когда б ты меня к стене прижал, когда б ты меня бить стал!.. А ты меня сразу пустил, стоило мне только слово сказать... «Эх! да что он за мужик такой», подумала я, – говорит Марина.

– Тебя бить!?! Да ведь ты знала, что я люблю тебя, как жизнь свою! Больше!..

– Не знала а! Думала я так: нравится я ему нравлюсь, да ведь если б меня он любил, так взялся бы за меня! А я не такая, чтобы первой на шею к кому-нибудь броситься. – И Марина надменно подняла свою гордую голову. А Ясек качался от боли:

– Эх!.. так вот как надо было!.. А я не знал... А теперь что?..

– Пропало!..

Вдруг Ясек вскочил: А если я убью его?!

А Марина:

– Так запрут тебя в тюрьму, а если и не запрут, так я и так за тебя не пойду... Душа у тебя мягкая... детская, но мужицкая.

– А я на тебя, как на царевну, глядел...

– А он со мной, как с батрачкой обошелся, силой взял...

Покачал Ясек головой.

– Эх, Марина, – сказал он через минуту, – силой и я многих девок брал. Да только ты слишком красива была и слишком богата...

– Какое-то странное сердце у тебя...

– Странное... Что же теперь с нами будет?

– Ничего... Я уже потеряла охоту к тебе... Мягко ты!..

Ясек встал.

– Прощай!

– Нет, нет!.. Ты у меня на свадьбе играть будешь.

– Ни за что!

– Ясек! да ведь ты любишь меня. И будешь мне играть! Не обижай меня!..

И Ясек остался и играл.

Играл три дня и три ночи, такую свадьбу справил старые Кружель своей дочке. Играл так, что у него струны не скрипели, а лопались, и новый смычок весь изорвался. Играл так, что кожа у него стала с пальцев слезать, стерлись и пятки от притопыванья, – а с волос пот градом лил три дня и три ночи. Играл он так, что люди ему дивились, а самому ему казалось, что душа у него в скрипку влезла, а он ее бьет, бьет, бьет, бьет смычком и приговаривает: мягкая ты! мягкая! мягкая! детская, а не мужицкая!..

За три ночи и три дня Мариной свадьбы ничего он в рот не брал, кроме вина и водки. Пил и играл.

На рассвете третьего дня кончилась свадьба, и Ясек перестал играть.

Ни с кем он не попрощался, никого не хотел видеть, оставил вещи и так, как был, со скрипкой под мышкой ушел из Рогожника.

И встретил старого Гонсёрка; он ходил около своего забора и новые жерди вставлял. Был и он на свадьбе, да недолго, – рад он был, что Маргарита там осталась и что он без неё отдохнет дома.

Ясек слова не сказал, прошел бы мимо, да старый Гонсёрк положил ему руку на плечо.

– Не здороваешься даже со мной, стариком? Даже имени Господнего не прославишь? Куда идешь?

– Куда глаза глядят.

– Вот как? Так, прямо со свадьбы? А не говорил я тебе: берегись, а не то съест она тебя. Вот и съела.

– Ну, оставайся с Богом.

– Добрый путь. Вот видишь, съела тебя эта девка. Ну, а Мацек с ней справится! Я к нему хорошо присмотрелся. Молодец парень! С такой – ремень поясной нужен, а не струны и смычок! Мягко ты!

– Оставайся с Богом.

– Господь с тобой... Не тужи... Тебя, может быть, Господь уберег; ты бы с ней ни за грош пропал!

Ясек уж шел по двору, а старый Гонсёрк бормотал:

– Страшное дело, как человек поглупеть может из-за бабы. Ведь вот он, казался молодцом-парнем, и деловой, и на все руки мастор, – на лесопилке-ли, на мельнице-ль, за лошадыми-ль ходить... а уж играть как лих!.. И как же его извела... Любовь... Гм... Да что-ж это?.. голова-ли, ноги-ли, или другое что... или все вместе... А вот как дорвешься, так и съест готов... Гм... Эх, кабы мне годов двадцать долой...

А Ясек-музыкант шел лесами и горами к Венгрии и говорил себе:

– Эх, глупый! Эх, глупый!.. Чего-ж ты не обернулся тогда, на мельнице?! Мало-ли раз мог ты это сделать?! Да ведь сама ждала, сама хотела... Эх, глупый! Эх, глупый!.. И какая душа во мне?! Ей-ей, я и сам диву даюсь! Чего не хочу, то само в горло лезет, а что не мое, да могло бы быть моим, того я взять не умею... Сглазили меня, что-ли? Марыси Хохоловской взять я не мог, измыкался я там весь; а эту вот мог – да прозевал... Эх!.. Уж не в скрипке-ли моей чары какие?.. Уж не она-ль мне душу так размягчила, что мне девка говорит: не мужицкая твоя душа, а детская!.. Нет, нет мне с ней счастья! Эх! уж не в ней ли чары какие?.. Да ведь кабы не она, Марина бы меня к лошадям не наняла... Говорили обо мне... Вот что!..

И такая его злость и боль на скрипку взяла, что он поднял руку, в которой держал ее, и хотел ударить ею по сосновому стволу... да вдруг вспомнил, что ведь это все, все, все, что осталось у него... Что у него ничего нет больше... Ничего, – только скрипка и слава, что о ней по миру ходит...

И заиграл он, только не на свой лад, не грустно, а рванул сразу смычком по всем струнам, так что они загремели все сразу, и заиграл чернодунайский марш.

И, играя так, шел он к Венгрии, и больше никто из своих о нем не слышал.

Говорили одни, что он с цыганским табором ушел, с тем самым, куда его раньше звали, другие, – что утонул в Ваге, третьи, – что спился и умер, что с разбойниками сошелся где-то там, в Семиградских горах. Никто не знал наврное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.